

М. ГОРЬКИЙ
(1868 – 1936)



ИЗ РАССКАЗА «СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ»

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди теньями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже, когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили,

находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...

– Ты слышал... – сказал мудрец.

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком... А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв

камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала и первый все лился впереди его... – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слышал. Никогда не слышал...

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье... – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила... И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

<...>

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

<...>

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они – только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Она продолжала:

<...>

– ...Когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... Вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

– Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!...»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

<...>

С моря поднималась туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело... Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.

– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.

– Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

– Откуда эти искры? – спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды

вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

– Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

– Веди ты нас! – сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

– Вы сказали: «Веди!» – и я повел! – крикнул Данко, становясь против них грудью. – Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он расвирипел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу,

дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была – там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

– Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ

Фантазия

В саду, за окном моей комнаты, по голым ветвям акации прыгают воробьи и оживленно разговаривают, а на коньке крыши соседнего дома сидит почтенная ворона и, слушая говор серых птичек, важно покачивает головой. Теплый воздух, пропитанный солнечным светом, приносит мне в комнату каждый звук, – я слышу торопливый и негромкий голос ручья, слышу тихий шорох ветвей, понимаю, о чем воркуют голуби на карнизе моего окна, и вместе с воздухом мне в душу льется музыка весны.

– Чик-чирик! – говорит старый воробей, обращаясь к товарищам. – Вот и снова мы дождались весны... не правда ли? Чирик-чирик!

– Фа-акт, фа-акт! – важно вытягивая шею, отзывается ворона.

Я хорошо знаю эту солидную птицу: она всегда выражается кратко и не иначе, как в утвердительном смысле. Будучи от природы глупой, она еще и пуганая, как большинство ворон. Но она занимает в обществе прекрасное положение и каждую зиму устраивает что-нибудь «благотворительное» для бедных галок и старых голубей.

Я знаю воробья, хотя с виду он кажется легкомысленным и даже либералом, а в сущности это – птица себе на уме. Он прыгает около вороны с виду почтительно, но в глубине души хорошо знает ей цену и никогда не прочь рассказать о ней две-три пикантных истории.

А на карнизе окна молодой щеголеватый голубь горячо убеждает скромную голубку:

– Я умр-ру, умр-ру от разочарованья, если ты не поделишь со мною любовь мою.

– А знаете, сударыня, чижики прилетели! – сообщает воробей.

– Фа-акт! – отвечает ворона.

– Прилетели и шумят, порхают, щебечут. Ужасно беспокойные птицы! И синицы явились с ними... как всегда... хе-хе-хе! Вчера, знаете, я спросил, в шутку, одного из них: «Что, голубчик, вылетели?» Ответил дерзостью... В этих птицах совершенно нет уважения к чину, званию и общественному положению собеседника... Я, надворный воробей...

Но тут из-за трубы на крыше неожиданно явился молодой ворон и вполголоса отрапортовал:

– Внимательно по долгу службы прислушиваясь к разговорам тварей, населяющих воздух, воду и недра земли, неукоснительно следя за их поведением, честь имею донести, что означенные чижики щебечут о весне и осмеливаются надеяться на якобы скорое обновление природы.

– Чик-чирик! – воскликнул воробей, беспокойно оглядываясь на доносителя. А ворона благонамеренно покачала головой.

– Весна уже была, она была не однажды, – сказал старый воробей. – А насчет обновления всей природы – это... конечно, приятно... если происходит с разрешения тех сил, коим сие надлежит ведать...

– Фа-акт! – сказала ворона, окинув собеседника благосклонным оком.

– К вышеизложенному должен добавить, – продолжал ворон, – означенные чижики выражают недовольство по поводу того, что ручьи, из коих они утоляют жажду, якобы – мутны, некоторые же из них дерзают даже мечтать о свободе...

– Ах, это они всегда так! – воскликнул старый воробей. – Это от молодости у них, это ничуть не опасно! Я тоже был молод и тоже мечтал о... о ней...

– О – ком?

– О ко... ко-ко-ко-кон...

– Конституции?

– Только мечтал! Только мечтал-с! Разумеется – скромно мечтал... Но потом – это прошло, явилась другая «она», более реальная... хе-хе-хе! и, знаете, пожалуй, более приятная, более необходимая воробью... хе-хе...

– Э-гм! – раздалось внушительное кряхтенье. На ветвях липы явился действительный статский снегирь, он милостиво раскланялся с птицами и заскрипел:

– Э, н-не замечаете ли вы, господа, что в воздухе пахнет чем-то, э...

– Весенний воздух, ваше-ство, – сказал воробей.

А ворона томно склонила голову набок и каркнула звуком нежным, как бляение овцы:

– Факк!

– Н-да... Вчера за винтом то же самое говорил мне один потомственный почетный филин... «Чем-то, говорит, э, пахнет...» А я ответил: «Заметим, понюхаем, – разберем!» Резонно, а?

– Так точно, ваше-ство! Вполне резонно! – почтительно согласился старый воробей. – Всегда, ваше-ство, надо подождать... Солидная птица всегда ждет...

На проталину сада спустился с неба жаворонок и, озабоченно бегая по ней, забормотал:

– И заря улыбкой нежной гасит в небе ночи звезды, ночь бледнеет, ночь трепещет, и – как лед на солнце – тает тьмы ночной покров тяжелый. Как легко и сладко дышит сердце, полное надежды, встречу солнцу, встречу утру, встречу света и свободы!

– Эт-то что за птица? – спросил снегирь, прищуриваясь.

– Жаворонок, ваше-ство! – строго сказал ворон из-за трубы.

– Поэт, ваше-ство! – снисходительно добавил воробей.

Снегирь искоса посмотрел на поэта и проскрипел:

– Мм... какой серый... прохвост! Он что-то там насчет солнца, свободы прошелся, кажется? а?

– Так точно, ваше-ство! – подтвердил ворон. – Занимается возбуждением неосновательных надежд в сердцах молодых птенцов, – ваше-ство!

– Предосудительно и... глупо!
– Совершенно справедливо, ваше-ство, – отозвался старый воробей, – глупо-с!
Свобода, ваше-ство, суть нечто неопределенное и, так сказать, неуловимое...
– Однако, если не ошибаюсь, кажется, вы сами к ней... зывали?
– Фа-акт! – вдруг крикнула ворона.
Воробей несколько смутился.
– Действительно, ваше-ство, однажды воззвал... но при смягчающих вину обстоятельствах...
– А... то есть как?
– После обеда, ваше-ство! Под влиянием... то есть под давлением винных паров... И с ограничением воззвал, ваше-ство!
– То есть как?
– Тихо сказал: «Да здравствует свобода» и тотчас же громко добавил: «в пределах законности».
Снегирь посмотрел на ворона.
– Так точно, ваше-ство, – ответил ворон.
– Я, ваше-ство, будучи старым воробьем, не могу себе позволить серьезного отношения к вопросу о свободе, ибо сей вопрос не значится в числе разрабатываемых ведомством, в котором я имею честь служить.
– Факт! – снова каркнула ворона.
Ей ведь всё равно, что ни подтвердить. А по улице текли ручьи и пели тихую песнь о реке, куда они вольются в конце пути в своем близком будущем:
– Широкие, быстрые волны нас примут, обнимут и в море с собой унесут, и снова, быть может, нас в небо поднимут горячего солнца лучи, а с неба мы снова на землю падем прохладной росой в ночи, снежинками или обильным дождем.
Солнце, великолепное, ласковое солнце весны, улыбается в ясном небе улыбкой бога, полного любви, пылающего страстью творчества.
В углу сада, на ветвях старой липы сидит стайка чижигов, и один из них вдохновенно поет товарищам где-то слышанную им песню о Буревестнике.

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и – тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике – жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, – стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, – им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, – гордый, черный демон бури, – и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гнев грома, – чуткий демон, – он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, – нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, выются в море, исчезая, отраженья этих молний.

– Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневно морем; то кричит пророк победы:

– Пусть сильнее грянет буря!..

ИЗ РОМАНА «МАТЬ»

Часть первая

I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики; она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям плыли иные звуки – тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, – фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление, и даже радость, – на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и – был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать – до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

<...>

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

– Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упиравшись рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

– Мамаша, – живо!..

– Дурачок ты! – печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

– И – курить буду! Дай мне отцову трубку... – тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос: «Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

– Не надо бы этого тебе...

<...>

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Третью дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети – квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее – кровать Павла, в переднем – стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу – вот и все.

<...>

Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

– Ну что, весело тебе было вчера? Он ответил с угрюмым раздражением:

– Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или – куплю себе ружье.

<...>

Однажды он принес и повесил на стенку картину – трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

– Это воскресший Христос идет в Эммаус! – объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда, вдруг, обращался к ней ласково:

– Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

<...>

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо.

– Ничего, Паша, это я так! – поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями.

Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

– Хочу я спросить тебя, – тихонько сказала она, – что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

– Ты – сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

– Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут – меня посадят в тюрьму, – в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос – ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

– Зачем же ты это, Паша? – проговорила она. Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

– Хочу знать правду.

<...>

– Что же ты хочешь делать? – спросила она, перебивая его речь.

– Учиться, а потом – учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять – отчего жизнь так тяжела для нас.

<...>

V

И снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу. Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

– В субботу у меня будут гости из города.

– Из города? – повторила мать и – вдруг – всхлипнула.

– Ну, о чем, мамаша? – недовольно воскликнул Павел. Она, утирая лицо фартуком, ответила вздыхая:

– Не знаю, – так уж...

– Боишься?

– Боюсь! – созналась она.

Он наклонился к ее лицу и сердито – точно его отец – проговорил:

– От страха все мы и пропадем! А те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

– Не сердись! Как мне не бояться! Всю жизнь в страхе жила, – вся душа обросла страхом! Негромко и мягче он сказал:

– Ты прости меня, – иначе нельзя!

И ушел.

Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет...

<...>

VI

<...>

– Подождите, товарищи! – вдруг сказала (Наташа). И все они замолчали, глядя на нее.

– Правы те, которые говорят – мы должны все знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы темные люди видели нас, нам нужно на все ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохол слушал и качал головою в такт ее словам. Весовщиков, рыжий и приведенный Павлом фабричный стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно спросил:

– Разве мы хотим быть только сытыми? Нет! – сам себе ответил он, твердо глядя в сторону троих. – Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы все видим, – мы не глупы, не звери, не только есть хотим, – мы хотим жить, как достойно людей! Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их!..

Мать слушала его, и в груди ее дрожала гордость – вот как он складно говорит!

– Сытых немало, честных нет! – говорил хохол. – Мы должны построить мостик через болото этой гниющей жизни к будущему царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи!

– Пришла пора драться, так некогда руки лечить! – глухо возразил Весовщиков.

<...>

VII

Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной пологой лестницы, – она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

<...>

Являлись и еще люди из города, чаще других – высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые темные брови, а когда говорила – тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

– Мы – социалисты...

Когда мать услышала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни ее молодости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и называли социалистами. И теперь она не могла понять – почему же социалист сын ее и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

– Павлуша, разве ты социалист?

– Да! – сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твердо. – А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

– Так ли, Павлуша? Ведь они – против царя, ведь они убили одного.

Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

– Нам это не нужно!

Он долго говорил ей что-то тихим, серьезным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала: «Он не сделает ничего худого, он не может!»

А потом страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных слов.

<...>

Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становилось странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

– Молодцы товарищи немцы! – кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем.

– Да здравствуют рабочие Италии! – кричали в другой раз, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка, они, казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слышат и понимают их восторг.

Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви:

– Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их

победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах, как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать: хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

– Какие вы! – сказала она хохлу как-то раз. – Все вам товарищи – армяне, и евреи, и австрияки, – за всех печаль и радость!

– За всех, моя ненько, за всех! – воскликнул хохол. – Для нас нет наций, нет племен, есть только товарищи, только враги. Все рабочие – наши товарищи, все богатые, все правительства – наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем, – такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все – дети одной матери – непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо – в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист – наш брат по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!

Эта детская, но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила.

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать, – в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира.

Резкие слова и суровый напев ее не нравились матери, но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не ущемившейся в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни.

Эту песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как воздух мартовского дня – первого дня грядущей весны.

<...>

IX

В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы.

Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались:

– Смутьяны! За такие дела надо морду бить! – И носили листки в контору.

Молодежь читала прокламации с увлечением:

– Правда!

<...>

XI

<...>

– Не поверят люди голому слову, – страдать надо, в крови омыть слово...

Весь день Павел ходил сумрачный, усталый, странно обеспокоенный, глаза у него горели и точно искали чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила:

– Ты что, Паша, а?

– Голова болит, – задумчиво сказал он.

– Лег бы, – а я доктора позову...

Он взглянул на нее и торопливо ответил:

– Нет, не надо!

И вдруг тихо заговорил:

– Молод, слабосилен я, – вот что! Не поверили мне, не пошли за моей правдой, – значит – не умел я сказать ее!.. Нехорошо мне, – обидно за себя!

Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить, тихонько сказала:

– Ты – погоди! Сегодня не поняли – завтра поймут...

– Должны понять! – воскликнул он.

– Ведь вот даже я вижу твою правду...

Павел подошел к ней.

– Ты, мать, – хороший человек...

И отвернулся от нее. Она, вздрогнув, как обожженная тихими словами, приложила руку к сердцу и ушла, бережно унося его ласку.

<...>

XXI

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно, вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно, бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение, казалось – все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности, третьи задумчиво тихие – все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо – для нее все лица сливались в одно: худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус.

Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла, – в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов.

Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка, она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

– До свиданья, товарищ!

– Прощайте! – сдержав улыбку, ответила мать. А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семеня маленькими ножками, шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка.

– Товарищ! – сказала мать, когда гостя исчезла. – Эх ты, милая! Дай тебе, Господи, товарища честного на всю твою жизнь!

Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее, ее ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости, – слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее их простота и красивая, щедрая

небрежность к самим себе.

Она уже многое понимала из того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей, и привыкла соглашаться с их мыслями. Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет быть сытым сегодня, никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой, немного глаз увидят в конце ее сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и, порою, усталые лица, казались ей детьми.

«Милые вы мои!» – думала она, покачивая головой.

<...>

XXIII

Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь и копоть, скрытую в его глубине. С каждым днем грязь настойчивее лезла в глаза, вся слободка казалась одетой в лохмотья, неумытой. Днем капало с крыш, устало и потно дымились серые стены домов, а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Все чаще на небе являлось солнце. И нерешительно, тихо начинали журчать ручьи, сбегая к болоту.

Готовились праздновать Первое мая.

На фабрике и по слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника, и даже не задетая пропагандой молодежь говорила, читая их:

– Это надо устроить!

Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал:

– Пора! Будет в прятки играть!

<...>

– Так и должно быть! – говорил хохол. – Потому что растет новое сердце, ненько моя милая, – новое сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: «Эй, вы! Люди всех стран, соединяйтесь в одну семью!» И по зову его все сердца здоровыми своими кусками слагаются в огромное сердце, сильное, звучное, как серебряный колокол...

Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они.

Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянув ее вниз, прошептала:

– Не мешай ему...

– Знаете? – сказал хохол, стоя в двери. – Много горя впереди у людей, много еще крови выжмут из них, но все это, все горе и кровь моя, – малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моем... Я уже богат, как звезда лучами, – я все снесу, все вытерплю, – потому что есть во мне радость, которой никто, ничто, никогда не убьет! В этой радости – сила!

<...>

Часть вторая

VIII

<...>

Незаметно для нее (Ниловна) стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени Его, как будто даже не зная о Нем, жили – казалось ей – по Его заветам и, подобно Ему считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Думала она об этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая светлое лицо

молитвы, ровным огнем обливавшей темный мир, всю жизнь и всех людей. И ей казалось, что сам Христос, Которого она всегда любила смутной любовью – сложным чувством, где страх был тесно связан с надеждой и умиление с печалью, – Христос теперь стал ближе к ней и был уже иным – выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом, – точно Он, в самом деле, воскресал для жизни, омытый и оживленный горячею кровью, которую люди щедро пролили во имя Его, целомудренно не возглашая имени несчастного друга людей.

<...>

XXVIII

<...>

Людмила подошла к матери, беззвучно смеясь... Взяв ее под руку, она снова тихо зашагала по комнате.

– У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет, но он живет у отца. Мой муж – товарищ прокурора. И мальчик – с ним. Чем он будет? – часто думаю я...

Ее влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво и тихо полилась речь:

– Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною жить ему нельзя, я живу под чужим именем. Восемь лет не видела я его, – это много – восемь лет!

Остановясь у окна, она смотрела в бледное, пустынное небо, продолжая:

– Если бы он был со мной – я была бы сильнее, не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже если бы он умер – мне легче было бы...

– Голубушка вы моя! – тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжет ей сердце.

– Вы счастливая! – с усмешкой молвила Людмила. – Это великолепно – мать и сын рядом, – это редко!

Власова неожиданно для себя самой воскликнула:

– Да, хорошо! – И, точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала: – Все – вы, Николай Иванович, все люди правды – тоже рядом! Вдруг люди стали родными, – понимаю всех. Слов не понимаю, а все другое – понимаю!

– Вот как! – промолвила Людмила. – Вот как... Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шепотом и точно сама созерцая то, о чем говорит:

– Миром идут дети! Вот что я понимаю – в мире идут дети, по всей земле, все, отовсюду – к одному! Идут лучшие сердца, честного ума люди, наступают неуклонно на все злое, идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы свои все к одному – к справедливости! Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и – одолеют! Новое солнце зажжем, говорил мне один, и – зажгут! Соединим разбитые сердца все в одно – соединят!

Ей вспоминались слова забытых молитв, зажигая новой верой, она бросала их из своего сердца, точно искры.

<...>

– Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и все облачают новыми небесами, все освещают огнем нетленным – от души. Совершается жизнь новая, в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь, кто? Какая сила выше этой, кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет победы ее, – вся жизнь!

<...>

Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:

– Дорогая вы моя! Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и – будет время – увидят они его, обнимутся с ним душой!

Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались, и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы

светлых слов. Они все сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, все ярче цвели и рдели в нем.

– Ведь это – как новый бог рождается людям! Все – для всех, все – для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы – товарищи, все – родные, все – дети одной матери – правды!